

# Метод описания и опыт свободы

Дмитрий Rogozin,  
Михаил Бодe

*Михаил Бодe: Дмитрий Михайлович, в какой момент своей жизни, своего академического трека вы всерьез познакомились с чикагцами?*

*Дмитрий Rogozin:* Я в каком-то смысле «всерьез» с чикагцами еще не познакомился. Это у меня в планах. Я читал их вскользь, в основном Роберта Парка. Через вторичные источники – Флориана Знанецкого. Чикагский ли он парень, не чикагский – другой вопрос, но точно к ним близок со своим «Польским крестьянином в Европе и Америке» [Thomas, Znaniecki, 1918–1920; Томас, Знанецкий, 2008]. Также вскользь – Street Corner Society [Whyte, 1943], вскользь – общие обзоры.

Мой проводник в чикагскую социологию – Владимир Николаев. Вот уж кто по-настоящему посвятил себя Чикагской школе (см., например: [Ефременко, Николаев, 2024; Николаев, 2009, 2015]). Признаюсь, слушать его непросто, с его детализацией, подачей материала, строгостью в отношении того, что и как интерпретировать. Но пишет он прекрасно, не сокращая, не обходя стороной трудных мест. Нам повезло иметь такого исследователя в России.

Для меня Чикагская школа – это направление, которое я изначально узнавал больше по байкам, мифам, рассказам, нежели по первоисточникам. Чикагцы были писучие. Нужно усилие, чтобы пройти весь материал, который они подавали. Когда я еще учился, у меня такой задачи и потребности не было: если говорить об американской социологии, я сразу переключился на Пола Лазарсфельда, с одной стороны, на ту традицию, которая связана с количественными опросами, а с другой – на школу, которую развивал Франклин Гиддингс еще до прихода немецкой традиции, до того как возшла звезда Толкотта Парсонса и Питирима Сорокина. Сейчас, если грубо, мы бы обозначили их как позитивистов, поскольку они пытались выстраивать понятия точно, стремились как-то их измерять.

В этом смысле чикагцы предложили нечто совершенно уникальное, отличное от всех остальных направлений. И журнал, который в большей степени был обязан им, *American Journal of Sociology*, – первые его выпуски отражали поворот к качественной социологии и отказу от метрик. Вместе с тем многие из них прекрасно разбирались в статанализе. Это не был отказ от статистического анализа, потому что ты плохо разбираешься в нем. Нет, именно в силу понимания того, какие риски несут в себе эти стандартизированные методики.

**Рогозин Дмитрий Михайлович**, полевой интервьюер, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН; заведующий, Лаборатория полевых исследований, Институт социального анализа и прогнозирования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС); Москва, Российская Федерация.  
E-mail: rogozin@tanera.ru.

**Михаил Михайлович Бодe**, независимый исследователь, основатель бюро Beyond research.

E-mail: mikhail.bode@gmail.com

В интервью Дмитрий Rogozin размышляет о Чикагской школе социологии как о школе коллег и современников, с которыми он ведет опосредованный диалог, обращаясь к их методической честности и умению не проводить лишние границы – между методологией и описанием результатов, литературой и академическим текстом. Rogozin выстраивает параллели между Чикагской школой и русской классической литературой (Толстой, Лесков, Чехов), видя в обеих традициях мастерство «сгущения деталей» и создание «великой этнографии». Лейтмотивом беседы служит также концепция «профессиональной растерянности» как предпочтительного базового состояния исследователя: фиксация того, на чем «споткнулся» взгляд, рефлексия собственного интереса, удержание неопределенности служат залогом вдумчивого исследования. Другая линия беседы – идея школы: Rogozin сравнивает Чикагскую школу и Шанинскую школу. Школа становится возможной, когда идет работа с наследием и поиском идей в текстах предшественников, складывается умение слушать – в узком кругу, а не среди толпы поклонников. И эта узкая группа становится способной менять социальную реальность, действуя не только в текстах, но и взаимодействуя с ней напрямую. Критическая линия направлена против доминирования специфического извода количественной методологии и «менеджерального» подхода в социальных науках. Наряду с прочим в интервью затронуты иные научные интересы Дмитрия Rogozina, в том числе публичная социология Майкла Буравого.

**Ключевые слова:** Чикагская школа социологии; А.П. Чехов; этнография; маргинальность; Карл Поппер; профессиональная растерянность

**Цитирование:** Rogozin, D., & Bode, M. (2025). «Метод описания и опыт свободы»: интервью с Дмитрием Rogozinym. *Городские исследования и практики*, 10(4), 18–29. <https://doi.org/10.17323/usp104202518-29>

## Этнография между литературой и публицистикой

*МБ: В каком направлении вы видите свое продолжение знакомства с чикагцами?*

*ДР:* В первую очередь меня всегда интересуют биографии, личные сюжеты. Чикагцы, в отличие от многих социологов, в том числе ныне живущих, не чуждались личных местоимений и рассказов о том, как они пришли к тому или иному заключению. Им свойственна пространность изложения такого рода. Огромное им уважение за их честность в представлении материала и за отсутствие страха перед апологетами «чистой науки». Поразительно, как они сумели выйти на эту тропу войны, да еще и выиграть. И пройти эту тропу с блеском, чтобы задать направление другим.

Сейчас о чикагцах говорят как об истории. Школа пережила свое, и вроде бы прямых наследников у нее нет. Но они чрезвычайно современны в текущем автоэтнографическом повороте. Мне близки их рассуждения о полевых работах, сбоях, описания собственных мыслей, сомнения в том, что они делали. У чикагцев не было жесткого разделения: тут пишем про методологию, а тут про результаты. Это очень правильная позиция, одно из интуитивно понятных, но часто третируемых с точки зрения классической науки представлений о производстве научного вывода. На мой взгляд, действительно нельзя разделять метод – то, как ты делаешь, – и то, что ты получаешь. Как только это разделение производится, чего требует от нас современное научное знание, это приводит к колоссальному разрыву и к фальсификации собственных выводов. А для чикагцев даже такой проблемы не существовало. У них нельзя изъять из текста формальное описание их подхода, оно размыто. Здесь есть чему поучиться, есть о чем подумать. Причем я не их апологет. Я не утверждаю, что надо вернуться к Чикагской школе и повторять за ними. Нет, я о том, чтобы воспринимать их как современников, а значит, как тех, с кем можно полемизировать. Не напрямую, конечно. Но, слава богу, о Чикагской школе только ленивый не писал, рецензий очень много. Поэтому можно через их восприятие, через их критику включаться в диалог, пусть и виртуальный. И это привлекает, как привлекает любое осмысленное чтение. Ну а кроме того, у них великолепный язык: они же думали не только о том, чтобы объективировать реальность и описать ее, но и о форме изложения, о тексте.

Конечно, я их читаю исходя из текущих своих представлений и позиций, но – как современников. Мы с ними живем в одном мире. Мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами, и поэтому читать их очень легко. Я не смотрю на них как на гуру, которые должны меня научить жизни. Я смотрю на них как на уважаемых, фантастических собеседников, с которыми может состояться диалог.

И я не считаю, что научный текст должен отличаться от художественного. Нужно работать с формой подачи материала, думать о том, кто читает, и о нарративе. Вот это всё у чикагцев тоже получалось естественно. Вряд ли они на эти темы много рефлексировали. У них это получалось само собой в силу базовой установки: они не требовали социологического образования от своих исследователей. Они требовали включенности в поле. Гораздо важнее быть знакомым с предметом и одновременно быть от него на некоторой дистанции. Уметь дистанцироваться от знакомого гораздо важнее, чем иметь социологическую подготовку. Поэтому Чикагская школа – изначально история синтетическая. Туда пришли люди с разным бэкграундом, с разным образованием и сформировали нечто, что назвали школой, при всем разнообразии того, что оказалось внутри.

У чикагцев есть смысл учиться построению законченных нарративов, потому что они, в отличие от многих, ушли от публикации отчетно-квалификационных работ к публикации законченных произведений – в публичное пространство. Их книжки выходили не для служебного пользования. Они были восприняты широкой публикой и толковались очень по-разному, приближались к общественно-политическим журналам, которые издавались в XIX веке в России.

*МБ: В России часто воспринимали этнографию как беллетристику.*

*ДР:* Драма русской социологии заключается в том, что у нас главные социологи оказались литераторами. Есть ключевые фигуры, например Лев Толстой. Его описание бездомности – одно из лучших, не утратившее актуальности. В своих очерках он просто рассказывает о собственной практике. И поражаешься точности формулировок, которыми он характеризует проблему. Вот он дает деньги, из него выбивают жалость – и эти деньги тут же пропиваются. И нет никаких оснований, чтобы исправить эту ситуацию. И он очень аргументированно описывает замкнутый круг бездомного существования, подчеркивая, что ни одну из сторон нельзя обвинять. Аналитическая работа в чистом виде.

Предельно социологические работы есть и у Лескова. У него настолько точное описание жизни, повседневности. Не говоря уже о Гоголе с его «Мертвыми душами». С одной стороны, это вроде бы образы, а с другой – с какой фактурой они поданы, это позволяет видеть архетипичные проявления. Это реально исследовательская работа. Я уж не говорю о публицистах. Чернышевский, Герцен – это не публицистика, а социологическое осмысление реалий, с которыми они сталкивались.

Хотя они, конечно, были глашатаями общественного мнения, но под гнетом цензуры постоянно занижали свою аналитическую роль, свою субъектность. Мол, объективное – это какое-нибудь статистическое ведомство, а мы занимаемся субъективным. А в этой-то субъектности, субъективности

и заключалась «исследовательская сермяжная правда». Скажу крамолу: не чикагцев нам надо читать, а Чехова. И через Чехова читать чикагцев, идти к ним. Вот это был бы очень сильный ход. Здесь речь не о первенстве, но русская мысль ничуть не уступает иным.

Впрочем, основные акторы такого восприятия – сами писатели. Уход в беллетристику – это уход в сторону безопасности высказывания. И то, что мы в России воспринимаем как само собой разумеющиеся – аллюзии, эзопов язык и так далее, – первым поколением или близким кругом считывается как ироничная конструкция, а потом перестает восприниматься таковой. И мы не видим за текстами реальных авторов, и требуется огромная литературоведческая работа. А когда она проводится, она ложится на полку к литературоведам.

С одной стороны, мы вроде бы создаем мощную этнографию, но за счет постоянного непроговаривания контекста, вынесения за скобки конкретных маркеров само высказывание вымарывается. Это самовоспроизводящееся разрушение этнографического письма – именно письма, а не процедуры. Потому что Чехов-то, чтобы писать, подслушивал, ходил, смотрел, участвовал. Он никогда не писал, наглухо запершись в своей комнате. По его записям видно, что они из мира, а не из головы.

Чехов для меня первый человек в социологическом плане. То, что он сделал, просто фантастично. Фантастично не по объемам, а потому, что человек, не имеющий отношения к специальному научному знанию, организывает статистическое действие – перепись населения, и организывает очень хорошо. И потом, когда он возвращается с Сахалина, он участвует в переписи даже не как переписчик, а как аудитор. И находит там ошибки. Это не сохранилось, к сожалению. Но его награждают медалью за участие в переписи, за то, что он как доброволец внес огромный вклад в понимание смещений, связанных с переписными листами.

И в этом смысле у меня претензия к условному Лескову не в том, что он писал художественно, а в том, что к его произведениям нет дневниковых записей. Или они утеряны, или даже существуют, но не сопряжены с самим текстом, и нет того, что позволяло бы говорить о фактологичности и методичности проделанной работы. Вот чего нам не хватает, чтобы включить в своей репертуар этнографические работы этих авторов.

Другой, наверное, еще более важный аспект проблемы – институциональный. У нас настолько жестко выстроены институциональные рамки – «клетки институции», – что, если ты не защитил кандидатскую по социологии, тут же возникает вопрос, какой ты социолог. Полный бред. К Чехову, между прочим, были те же претензии. Никто из Русского географического общества, из этнографов не обратил внимания на выход «Острова Сахалин», словно поездка была блажью писателя: дескать, съездил «перезагрузиться», зверьков каких-то привез.

Чиновники рассуждают о межведомственном взаимодействии, академические сотрудники – о междисциплинарном взаимодействии. Но ни того ни другого нет. Ни там ни там, вот беда. А по факту это, на мой взгляд, одно из самых перспективных направлений – переосмысление без учета того, кто доктор наук, а кто нет, кто преподавал, а кто не преподавал в университете, но с оглядкой в первую очередь на то, кто был в поле и вел полевые записки.

*МБ: Если снова обратиться к чикагцам, есть ли и у них то, что мы вынуждены познавать через экзегезу? То, что мы сейчас не понимаем или с трудом понимаем через доступные нам рецепции их работ?*

*ДР:* Они нам показали работу идеальной академии. У них реализовались два принципа. Первый – принцип академической свободы. Там никто никого не принуждал писать аналитические записки, отчеты, сдавать НИРы. Люди уходили надолго, мучились и, возвращаясь, общались если не с равными, то с критиками, с собеседниками, а не в режиме «начальник – подчиненный», как у нас это принято.

Второй принцип – отсутствие дисциплинарных рамок как ограничителей. Как у нас любят: хотите заниматься психологическим тестированием – получите сертификат. Покажите бумагу, которая подтвердит, что вы вправе это делать. Да зачем эти бумаги нужны? Есть человек – есть общение. Оно формирует все твои качества.

В известном смысле чикагцы дают возможность отстроиться от всеобъемлющей бюрократии «правильного образования» и «правильного исследования», которой сейчас и на Западе хватает, с их многочисленными этическими комитетами и прочим.

Эти этические комитеты – тоже отдельная история. Я думаю, ни одна работа Чикагской школы не прошла бы через современные этические комитеты. Значит ли это, что чикагцы не были озабочены этикой? Конечно, нет. Этические вопросы там – ключевые. Другое дело, что они не решаются подписанием на бумаге с информированным согласием. Это полная туфта – преобразование этического вопроса в бюрократический. Так ты снимаешь с себя ответственность и перестаешь думать об этических вопросах. Ты уже нарушил базовые принципы человеческой коммуникации, которые реализуются уж точно не на бумаге.

*МБ: Что обеспечивало эту самую нарративную мощь работ чикагцев?*

*ДР:* Честность. Если пытаться редуцировать до какой-то одной универсалии, я бы говорил о методической честности. Ну и исследовательской. Что я имею в виду? Нечестный исследователь – это тот, который пытается убедить вас в какой-то точке зрения, непременно хочет что-то до вас донести. Не обязательно с самого начала: сперва он убеждается сам, а потом невольно начинает искать аргументы, подтверждающие его убеждения, и отсеивать, не видеть те, которые им противоречат. А у чикагцев, в общем-то, видна честность с точки

зрения описания того, что происходит, и они, кажется, не задумывались особо о том, насколько эти описания могут противоречить друг другу. В текстах эти противоречия оставались. И в этом смысле они создавали читателю пространство и для интерпретации, и для мышления, в отличие от строгих текстов условно парсоновского типа, где были попытки объяснить, почему именно это и именно так, со структурами, точным разбиением на квадранты и так далее. Чикагцам была свойственна эта черта, которая должна быть у любой этнографической работы, но часто исключается именно в связи с одной человеческой особенностью – тем, что мы хотим быть более убедительными, чем мы есть. И это стремление быть более убедительными присуще в большей степени именно научным сотрудникам. А чикагцы не всегда себя ощущали учеными и, в общем-то, не игрались в свою ученость. Они ощущали себя в большей степени исследователями, растерянными и удивленными перед тем, что происходит.

А еще чикагцы – это те, кто реализовывал базовый принцип Фейерабенда по полной. Его «Всё дозволено» (*anything goes*) часто интерпретируется вульгарно, как некоторая вольность. Но фейерабендовский методологический анархизм, как и любой анархизм, построен не на вольности, а на ответственности. Вот чем они велики. Они не пытались найти единый, универсальный подход, не пытались создать гранд-теорию. Для них всё было дозволено – с одним ограничением, очень мощным: всё дозволенное должно было быть аргументировано в меру сил. И если оно не аргументировано, то оно должно было быть описано. Тогда должно было быть явлено, обнажено, что аргументов нет. Чикагцы работали с голыми нарративами, они были нудистами от методологии. Тем и сильны. Очень сильны. Потому что те одежды, которые часто надевают исследователи, могут быть все в блесках, красивыми, но больше похожими на облачение звездочетов, нежели на одежды научных сотрудников.

## Искусство описания против позитивизма

*МБ: Кто те главные медиаторы, через которых доходят до вас чикагцы? Чья рецепция вам важна и повлияла на вас в первую очередь?*

*ДР:* В первую очередь Владимир Николаев. Этот человек – энциклопедический справочник. Если ты хочешь что-то понять, если подозреваешь, что в чем-то заблуждаешься, если у тебя, как говорят про искусственный интеллект, «галлюцинации» – ты идешь к Николаеву, и он тебя ставит на место.

Что касается посредников содержательно близких – к сожалению, у меня все медиаторы уже умерли. Они сами становятся теми, с кем нужно дополнительное усилие, чтобы установить общение. Для меня это был перво-наперво Владимир Александрович Ядов. Он не был специалистом по чикагцам. Но, например, у него было удивительное исследование вместе с поляками по уста-

новлению социальной идентичности. Оно строилось на очень простой методике, количественной в своей основе, но она была открытая – они много записывали. Вообще, любое количественное исследование – это тоже чикагская традиция, кстати, – может быть преобразовано в осмысленный диалог, если просто включить запись. Так вот, они задавали буквально два вопроса полякам и русским: кто мы, а кто они? Там очень крутые результаты (см. краткий обзор результатов на выборке в России: [Ядов, 2003]). Это ведь важно, другие – они враги или нет? И кто мы – те, кто не такие, как они, или у нас есть что-то свое? Это не этнографическое исследование в духе Чикагской школы, какой мы ее знаем, но такое, в котором твой концептуальный вопрос встраивается в рамку, доступную для восприятия собеседника.

Не скажу, чтобы Ядов постоянно говорил о чикагцах, но они занимали в его перспективе важное место. Правда, он многих отпугивал в конце своей жизни эпатажем полипарадигмальности [Ядов, 2012]. Он все время говорил, что необходимы все пути, пусть всё цветет. И чикагцы были таким «большим соцветием» в его сфере, он уделял им внимание, хотя основная традиция для него – английская школа антропологии: Мартин Аткинсон и Пол Хаммерсли [Atkinson, 2013; Atkinson, Hammersley, 2007; Hammersley, 1992].

В меньшей мере – Батыгин. Он их, чикагцев, иронически задевал. В его иронии была здоровая критичность. Многие не понимали Батыгина, пытались придать его смеху пафос объективации происходящего. Но сам он позволял увидеть за его иронией те места, на которые нужно обращать внимание.

*МБ: А за что он их задевал?*

*ДР:* За эту чувственность, вживаемость в предмет. Не раз повторял метафору: если вы хотите изучить игру в шахматы, вы что же, начнете наблюдать за играющим? Это вам даст что-нибудь для понимания того, как устроена игра в шахматы? Наверное, нет. Вот за эту многословность чикагцев, за это описание, близкое к тому, что Гирц называл *thick description* – «густым», «толстым» описанием, – он их и критиковал, говоря, что надо быть точнее.

Недавно, когда я был на Сахалине, я проследил близкие нотки у Чехова. У него есть это «густое описание» – в малом сказать многое, сгустить материал. Чикагцы не сгущали материал никогда. Они писали как писалось. В медленном изложении нарратива ты должен нащупать собственную мысль. Читая эти тексты, ты не продираешься через них, а размышляешь вместе с ними, отходя от текста, накручиваешь у себя спираль понимания. А Чехов и Батыгин – это другая позиция. В соответствии с ней ты должен высушить текст до такой степени, чтобы он через малое мог сказать о многом. Он должен быть густым. Жаль, Чехов не читал чикагцев.

*МБ: У всякой «густоты» свой генезис. Это некоторая дистилляция – «густого» из «обильного».*

А как эта дистилляция происходит в вашей исследовательской практике?

ДР: Очень по-разному. Но основное, что связывает все мои проекты, – состояние растерянности. Это самое устойчивое, что может быть вынесено из поля. Любое более или менее серьезное поле, где было что-то такое, о чем ты мог подумать или о чем ты хотел бы, чтобы подумали другие, – проходило у меня этап растерянности. Полного непонимания. Причем он самый длительный. И эта фрустрация накрывает очень сильно. Потому что обильность [материала], как правило, представляет собой мусорную кучу, с которой ты не понимаешь, что делать. А в поле нужно уметь не принимать решение, вернее, отказывать себе в постановке вопроса о принятии решения на предмет того, что важно, что не важно.

Конфликт важного и неважного становится особенно пагубным, когда, с одной стороны, у тебя есть «важно» или «не важно» с точки зрения твоего исследовательского вопроса, а с другой – «интересно» и «неинтересно», на что ты обратил и на что не обратил внимание. И когда происходит конфликт между «важным» и «интересным», возникают самые большие сбои. Потому что на самом деле то, что привлекло твое внимание, и есть подлинно важное. Даже если оно не вписывается в твою исследовательскую установку, в запрос заказчика, забудь про это. Скорее всего, впишется потом. Но если ты не зафиксируешь это, если ты начнешь блокировать свой интерес, последствия могут быть катастрофическими.

Нужно постоянно задавать себе вопросы: а на что ты обратил внимание? на чем ты споткнулся? Это может быть что угодно. Что-то – в кабинете. Что-то – «в огороде» у твоего респондента. Что-то – в твоих мыслях: раз – и вдруг тебе стало неудобно. Очень важно это неудобство зафиксировать. Ты разберешься с ним потом, а в ходе интервью ничего не поймешь.

Общая установка – на то, чтобы как можно более детально фиксировать то, на что упало твое внимание, и дальше рефлексировать по поводу этого внимания. Это сложно, когда основные усилия уходят на то, чтобы собрать «породу». Нам доступны самые разнообразные способы фиксации информации, и всё в одном устройстве – телефоне. Вроде бы здорово, но парадокс в том, что зафиксированное, как правило, уходит в небытие. Нет лучшего способа, чтобы потерять ткань повествования, чем сделать запись на диктофон. Ты успокаиваешься сознанием того, что оно записано, а на деле всё это – в тину. И когда ты прослушиваешь запись, у тебя уже процентов шести-десяти информации нет. У тебя нет контекста, нет твоих мыслей. Всё скукоживается до неразличимости.

МБ: Как происходит «сжатие»?

ДР: За счет абсолютно формальных требований к себе, к своему письму. Через письмо.

Два года назад умер мой любимый современный писатель Алексей Слаповский, из Саратова. Он как-то в шутку предложил такой новый стиль – «сто-слова». Уложить главное в сто слов – ну, не обязательно именно в сто. Просто ты говоришь себе, что расшифровку на сорок тысяч слов тебе нужно уложить, например, в двести. Я им начал активно пользоваться. Мне очень помогает. В какой-то момент обнаруживается, что даже предлоги функциональны. Редактор говорит тебе, что здесь надо отредактировать, и ты сразу: «Стоп! Не надо. Это очень важное слово. Если я его заменю, то у меня изменится общее количество. Это слово здесь стоит осмысленно». Я долго думаю, что куда поставить. Правила могут быть и другими. Смысл в том, что ты создаешь себе некоторые ограничения за счет правил, в которые ты должен вписаться, и поэтому ты более внимательно смотришь на язык, которым производишь высказывание, и ищешь другие речевые способы выражения. Вот это – сгущение.

Сгущение, конечно, проще делать на количественном материале, оно в случае с ним производится автоматически. Хотя и там есть подводные камни, и очень большие. У меня был еще один учитель, Сергей Чесноков, математик по мировоззрению и ярый критик современных подходов к статистическому анализу. Его базовая посылка была: ребята, прежде чем браться за те или иные виды анализа, посмотрите, какие условия прописаны для их реализации. Присмотришься – и вдруг базовым условием оказывается случайный отбор, да еще и с нормальным распределением. А ведь ничего этого нет, и что же вы тогда делаете? И он предлагал совершенно другую методологию анализа данных. В социологии обычно просто декларируется, что выборки случайные. Но вся эта «случайность» нарушена с самого начала. Кто полевик, тот понимает. Соответственно, надо подходить к анализу как к не случайному. И не проверять гипотезы о нормальном распределении и отклонении от среднего. У нас же чуть ли не все статистические методы построены на работе с дисперсией, с отклонением. Но для этих отклонений есть очень жесткие условия в плане того, с какого рода распределением они работают и как были собраны данные, потому что проверяется гипотеза о случайности распределения. А если данные были собраны не по этому принципу, что вы проверяете? Тут, конечно, сгущение проводится через математические процедуры, но это не снимает очень важной задачи постоянной рефлексии по поводу того, что же стоит за каждым твоим приемом. А иначе – черный ящик, в который ты что-то забросил и что-то из него вынимаешь.

Очень часто к такому черному ящику тяготеют и качественные. Взять хотя бы преклонение перед *grounded theory*. Когда ты идешь по формальной процедуре свободного кодирования, осевого кодирования и так далее, ты в одном шаге от того, чтобы начать считать проценты. Кто-то и считает эти проценты несчастные. Всё от желания передать машине

свою ответственность: «Пусть оно всё как-то соберется в облако». Одно время это было общим местом: каждый отчет содержал эти облачные структуры с тегами, люди сидели и медитировали на них. А что медитировать? Что там особенного?

Так что в сборе данных самая важная процедура – это динамическое поддержание растерянности и преодоление фрустрации. Ты должен быть растерян, но не фрустрирован своей растерянностью. А в анализе, в сгущении данных основная задача состоит скорее в том, чтобы выдерживать сверхкритичную позицию к тому, на каких основаниях ты действуешь. Задавать себе простой вопрос: что вообще я делаю? Нет, его нельзя задавать постоянно, иначе ничего не сделаешь. Но с какой-то периодичностью. Это должно быть прописано в протоколе. Два-три дня работаешь, и бац – что я делаю? И давай, критикуй себя как хочешь.

*МБ: Хочу вернуться к вашей «апологии растерянности». По аналогии с зиммелевским «исследователь – это профессиональный чужак» для вас уместно говорить о «профессиональном растерянном»?*

*ДР:* Вполне. Я говорю еще о «профессиональном шизофренике». У хорошего исследователя, кроме сомнения, кроме потерянности, всегда возникают структуры вроде «с одной стороны... с другой стороны...». То, что вменялось оставшейся российской интеллигенции как отсутствие определенности – «Вы уж определитесь, с кем вы», – является и базовой чертой научного сотрудника. У него определенности нет. Как только он находит сильнейшие аргументы в пользу какого-то суждения, неопровержимые доказательства, он тут же автоматически, если он научный сотрудник, ищет способы опровергнуть их – и, конечно, находит. Поэтому у него возникает эта конструкция – в духе мема «Не всё так однозначно». Ты не можешь ни о чем сказать с убежденностью, не добавив нотку сомнения. И чем дольше ты на ней будешь оставаться, тем больше сомнений будет вырастать.

Я люблю одну метафору Поппера. Он говорит, что объекты делятся на два типа. Есть объекты-часы, в которых имеется механизм, и если нам повезет, то мы сможем его разгадать. Механизм может быть бесконечно сложным, и не исключено, что к окончательной разгадке мы не подойдем, но мы всё равно понимаем, что эти объекты работают как механизм. А есть объекты, которые работают как облака. Мы можем пытаться объяснить их как механизм, но нас всё время будет преследовать странное ощущение, что так мы их описываем очень плохо. И вовсе не в силу разделения на гуманитариев и технарей, а в силу онтологического разделения мира и структур, которые мы изучаем. И большинство социальных отношений вписывается в архитектуру именно облачного типа.

В связи с этой простой, но сильной попперовской метафорой возникает много любопытных сюжетов. Начинаешь сам себя ловить на мысли, что ты

понимаешь, что описываешь облачную структуру, но невольно используешь механизмы описания часовой и создаешь артефакты. Хочешь не хочешь, а создаешь, поскольку у тебя такой инструментарий. Это уже метафора Льюиса Козера – сантехник с набором ключей. Он видел социолога как того, кто умеет подобрать правильные ключи. Но ведь это говорит о том, что если ты через такую метафору работаешь, то у тебя объекты – механизмы. Выходит, тебе предзадана очень странная конструкция, которая тебе создает иллюзию понимания мира. Но ты его понимаешь лишь потому, что работаешь с моделью, и тебя ждут огромные разочарования, если что-то пойдет не так. Пока социальная структура воспроизводит себя и нет каких-то всплесков, модель механизма – рабочая. Она дает результаты. Но как только проявляется непредсказуемость, связанная с облачной природой объекта, у тебя всё летит, и ты становишься абсолютно ненужным со всеми своими теоретическими построениями.

У меня недавно было исследование, посвященное рынку труда. Я разговаривал с региональными чиновниками и с бизнесменами по поводу занятости. Мне нужно было быстро сдать статью, я ее написал – и думаю: на кой вот так ее сдавать? И я каждому своему ключевому респонденту отправил статью, выделил его места и говорю: слушайте, а вот с чем вы согласны, с чем нет? И началось. Текст написан, ты его выстрадал. А человек говорит: вот это убери, а здесь не так надо. И понятно, для них главное не стилистические особенности изложения, а угрозы и риски. Может быть, это и неправильно – так дознаваться до подноготной. Но я исходил из того, что важнейшие соучастники твоего проекта – это те, с кем ты говоришь. Твои респонденты – они соучастники. Они не твой материал, не объект, из которого ты чего-то вынимаешь, а потом их подставляешь. В лучшем случае возьмешь информированное согласие, а текст им не покажешь на всякий случай, чтобы они чего-нибудь не изменили. И я пошел по пути, на самом деле очень неудобному, потому что здесь вдруг твое личное пространство начинает сжиматься, чего делать не хочется.

*МБ: Надо полагать, «индуцировать неудобство» таким образом регулярно – проблематично.*

*ДР:* Я не считаю это единственной возможной линией. Но это та линия, которая позволяет еще раз сделать акцент на том, что исследование – это не твоя вотчина. Это не твоя рукопись. Это коллективное действие, в котором очень важна драматургия взаимодействия. И то, что респонденты выкидывают, я складываю на отдельную полочку, благодаря чему у меня теперь есть дополнительная возможность осознать границы допустимого.

Вот пример. Один респондент рассказывал о своих взаимодействиях с одной госкорпорацией. Он предложил им свое представление: вот смотрите, вы проводите эти измерения, но фактически измеряете то, чего нет, попробуйте лучше сделать вот

так. Написал в региональный Росстат целое письмо, где обосновывал, как измерять некую ситуацию. Ему пришел ответ в духе: вообще-то у нас утвержденная методика, чего вы сюда суетесь? И он в разговоре говорит мне дальше – «Идите лесом со своими предложениями». Красиво. Я это «идите лесом» оставил. Он мне пишет: «Ну слушайте, уберите „идите лесом“». Но ведь через эту нюансировку слышно его отношение, слышна его боль. Человек пишет развернутое предложение в госструктуру, он болеет за свое дело. И понятно, что эта эмоциональность – она же ему в плюс. Человек не просто адекватный, но и эмоционально включенный в ситуацию. А для него самого – нет. Он чувствует, что здесь есть нотки оскорбления. И что та сторона, кондовая, так и воспримет: «Не было такого». Формированию такой исследовательской повестки я сам только учусь. Ты постоянно пытаешься произвести над собой насилие в чистом виде. Думаешь: это же мой текст!

*МБ: Какие еще были прекурсоры у ваших сегодняшних методологических оснований?*

*ДР:* Очень помогает коммуникация, общение с другими. Я абсолютно уверен, что этнографическое заблуждение, миф, будто исследования делаются великими людьми в одиночку, должен быть окончательно изжит. Все исследования у нас так или иначе продукт коллективный. Если ты это не понимаешь, значит, ты занимаешься чем-то другим, но не исследованием.

Эти остановки и дискуссии важны чрезвычайно. В русском языке нет хороших слов, чтобы их описать. Это не мозговые штурмы. Скорее уж сессии. К сожалению, поскольку мы мало пишем о методе, то у нас не развит и аппарат описания того, что мы делаем. Мы выдаем статьи – не важно, заказчику или в научный журнал, – и обычно под метод отведен от силы абзац, за ним – основные выводы. А по-хорошему, выводы должны быть перемешаны с методом – с чего я и начинал. Именно так это было в Чикагской школе. Попробуйте в их нарративах найти где-то метод. Он встроен в повествование.

Я чуть раньше сказал, что российские мыслители не дотянули до научно-исследовательских работ. А чикагцы, наоборот, чуть не дотянули до нашей публицистики, до широкого распространения журналов в интеллектуальной среде. И расплатились отсутствием большой полемики [вокруг своих работ]: я бы не сказал, что Чикагская школа широко распространила свое влияние даже на сами Штаты – ее влияние точно было меньше, чем влияние Чернышевского и Герцена на умы в России. Так что к чикагцам стоит относиться критически, но там есть к чему относиться, без всяких сомнений.

Меня в их отношении даже больше интересует период угасания их традиции, отход от нее. Это хорошо прослеживается по *American Journal of Sociology*, когда вдруг начали господствовать количественные методы, регрессионный анализ как ме-

таподход, безо всяких реверансов в сторону чего-то другого. Хотя выводы, которые мы видим в таких работах, в содержательном плане, как правило, никчемные, но эти методы как произвели фурор с полвека назад, так и закрепились и до сих пор непоколебимы. И тут судьба Чикагской школы тоже совпадает с судьбой наших классиков-публицистов XIX века.

У Нормана Дензина – он умер в 2023 году – был манифест качественной социологии, где он писал: ребята, ваше увлечение доказательной политикой, где в качестве доказательств задействуются регрессионные модели, – это разрушение позиции человека как действующего лица (см. подробнее: [Denzin, 2023; Рогозин, 2023]). Вы это не проговариваете, вы можете писать, как у нас любят, про «человекоцентричную политику» и так далее, но, поскольку вы выстраиваете причинно-следственные связи таким образом, вы человека объективируете, он для вас объект с некоторым набором свойств, на которые можно влиять как на машину. В вашем мировоззрении человек стал машиной, а значит, вся социальная политика через это реализована.

*МБ: Всякое очередное возвращение наивного позитивизма характеризуется тем, что позитивизм этот все более изощренный, complex, но не менее наивный в своей сути.*

*ДР:* Я думаю, это даже не позитивизм. Позитивизм в карнаповском изводе развивался как стремление выстроить систему понятий и работать с ними, предполагал представление о том, что любое исследование сводится к проверке гипотез и формированию основных концептов, которые должны проходить операционализацию. Это традиция, которая включает в себя и другую логику, в том числе индуктивную. У позитивизма есть границы, Витгенштейн их хорошо определил, и люди, которые обладают позитивистским мышлением, понимают границы его применения. Позитивизм пытались преодолеть. Можно ему противостоять, можно с ним полемизировать, до сих пор можно даже занимать позицию позитивиста и не отходить от научной логики.

То, о чем я говорил, – нечто другое, вне сферы образования, вне больших концептуальных, мировоззренческих структур. Я бы назвал это «менеджерially» подходом. Своего рода «галлюцинирующий» искусственный интеллект: ты становишься узлом как бы интеллектуального действия, но оно абсолютно пустое. Оно работает не со смысловыми содержаниями – в отличие от позитивизма. Это когда люди пытаются выставить цели бюрократическим образом, но даже цель для них не база. Никто из них не думает всерьез, что же является целью. Всерьез думают о двух вещах – о сроках и об исполнителях, ответственных лицах. В «менеджерially» режиме это понятная процедура. Ты управленец, твоя главная задача – следить за подчиненными, вызывать их на ковер и проверять, насколько они соблюдают сроки, – в общем,

поддерживать работу машинерии. И ладно бы это было управленческое действие – беда в том, что оно перенесено на науку, против чего Дензин и выступал. Он говорил: коллеги, вы не заметили, как все процедуры научного познания, где полученные знания являются проблемными и у самих производителей знаний есть стремление к тому, чтобы их опровергать, – вы заменили менеджериальными посылами, с конечной целью не опровергать, а бесконечно подтверждать собственный статус. Таким образом, наука переняла все методы использования озлобленного маркетинга против своих оппонентов. И всё, науки как таковой дальше и нет.

## Школа (в) социологии

*МБ: Когда чикагцы начинали работать, они себя школой не мыслили. Они работали – вместе и порознь. Однако постфактум стало понятно, что они составляют школу. Но меня всё чаще посещает сомнение, актуально ли сегодня само понятие «школа». Институциональная динамика теперь совершенно другая. После многочисленных методологических поворотов, в эпоху сетевых исследовательских проектов, временных коллабораций, партисипаторных исследований возможно ли, на ваш взгляд, формирование новых социологических школ – в исходном понимании термина?*

*ДМ:* Я считаю, что возможно. Мне кажется, механизмы остались тем же. «Мы здесь сейчас» и «они там тогда» – это один временной континуум. А что до школ, то они формируются не первым, а вторым поколением исследователей. Теми, кто обращается к работам не с точки зрения воспроизводства тех или иных направлений, а с точки зрения изучения того, что там было. Когда предметом исследования становятся сами исследования, которые были проведены первой волной. Точно так же и Чехов стал классиком за счет работы литературоведов, хотя не последнюю роль сыграла рецепция его пьес на Западе.

То же у нас в социологии. Самая большая горечь исследователя – то, что его не читают, не критикуют. Пока твои труды лежат без движения, не то что школа невозможна – никакая рецепция твоих идей.

Школа, как ни парадоксально, представляет собой механизм эмбрионного типа. Она способна пребывать в зародыше довольно продолжительное время. Так, я могу себе представить, что сформируется устойчивое представление о Шанинской школе. Оно и сейчас есть, но не такое устойчивое, как о той же Чикагской школе. При всем при том в случае с Шанинкой мы видим разнообразие подходов: это не только крестьяноведение и качественный метод, но и много чего еще – хотя бы Крыштановский, который занимался количественными методами [Крыштановский, 2006]. Но это может случиться только в том случае, если будет продолжаться работа с наследием, будут не только продолжаться конференции ритуального типа, Шанинские чтения ка-

кие-нибудь, но и будет взгляд на то, что же делалось, и будут отдельные исторические, историографические работы, а также лингвистические, с анализом текстов. Когда такое делается, возникают школы.

Самая известная в России школа – это Московский методологический кружок. Его образовали четыре совершенно разных человека. Даже Грушина и Зиновьева рядом представить трудно, а добавить Мамардашвили и Щедровицкого – полное безумие. Но они собрались в кружок, и мы интуитивно видим – прямо как сетку – то общее, что объединяет эту четверку. Хотя понятно, что усилия, связанные с методологами, были поддержаны и властью, и другими структурами. Щедровицкий выпал, став слишком тяжелым для того, чтобы находиться в кружке. Но в любом случае здесь можно уверенно оперировать понятием школы.

Я уж не говорю о школах в лингвистике и филологии. Это более устойчивая форма работы в гуманитарном знании, особенно в том, что касается древних текстов, где было меньше давление конъюнктуры. Там у нас вполне себе мощные школы и имена. Допустим, Гаспаров. Рядом с ним – его друг Аверинцев. Огромное направление с очень широким спектром людей, которые не столько входят в эту школу, сколько конституируют ее, постоянно обновляют и поддерживают ее восприятие в публичном пространстве.

Так что да, я считаю, что и сейчас школы формируются. Другое дело, что мы как современники очень хотим, чтобы это происходило быстрее. Хочется, чтобы школа уже была – в настоящем. Правда, если мы говорим о научных школах как о концепте, вполне нормально настоящим считать условно столетний период, а не пятилетний. Вопрос «А что есть настоящее?» применительно к формированию школы – это именно вопрос, ответ на который нужно искать, формулировать, обосновывать.

Если говорить о школах, давайте смотреть тогда, что было разрушено в 1920-х и к какой фрагментации знаний привело. А можно пойти и дальше. Попытка постоянно извлекать из себя и заимствовать новые методы – это и есть первое действие по разрушению интенции к формированию школы. Смирение, послушание, поиск своих мыслей в текстах предшественников – вот первые условия для того, чтобы школы конституировались в текущем режиме. А что касается общих политических и социальных, интеллектуальных условий – всё это есть и никуда не уходило. Единственное, обидно, конечно, что на Западе это реализуется регулярно, и мы это безоглядно копируем.

Для формирования школы не нужны толпы поклонников. Нужна очень узкая группа, участники которой друг на друга ориентированы и формируют общую повестку, но не с точки зрения своего вклада – «Вот мы вчетвером сделали что-то новое», – а с точки зрения вклада предыдущего поколения. Вот если это сформируется – всё, школа будет.

## Социологи и социальные реформаторы

*МБ: К вопросу интенциональности. У чикагцев заметна установка на то, чтобы преобразовать социальную реальность. Их проекты часто были призваны изменить то, что они наблюдали в поле.*

*А исследовали они зачастую бедные районы, маргинальные группы. В известном смысле то была перформативная социология. Насколько эта «гражданская перформативная» составляющая близка лично вам и как вы видите ее место в современных исследованиях?*

*ДР: Эту традицию очень ярко продолжил погибший в феврале 2025 года Майкл Буравой. Если мне память не изменяет, он прямо ссылаясь на чикагцев. И конечно же, эта участвующая социология – она у него названа «публичной социологией» – и выступает базовым условием его метода [Рогозин, 2009].*

*Единственное, Буравой, я бы сказал, революционер от теоретиков. Он пошел до конца. У него же был тезис, что надо забыть про западную традицию и искать традиции в других местах – в частности, в африканских странах. И Россию он очень любил.*

*У нас зачастую Буравого знают по декларации – с его типологией, с выделением профессиональной, критической, прикладной и публичной социологии, – но ведь он занимался этнографией и показывал свой метод в своих же работах. Они небезупречны, можно высказать много претензий к тому, что он увидел и как и что он делал. Особенно на нашем материале – он в Сыктывкаре, по-моему, на заводах работал. Тем не менее видно, что extended case method – «расширенный кейс-метод» [Burawoy, 2009], который он развивал, отчетливо коррелирует с чикагской традицией, он ее просто продолжает. Идея тут очень простая. Рассматривая частный случай, кейс, как значимое, для того чтобы увидеть внутренние связи на уровне микромира, ты обязан поставить его в широкий контекст, и с такой точки зрения в этнографии оказываются легитимны и статистические таблицы, если они релевантны твоей посылке. Буравой пытается это показать через расширенный кейс-метод, выстраивая индивидуальное описание в контексте как можно более широком.*

*Пока не сложилась, но, я уверен, может сложиться школа Буравого: он многое сделал, много позиций занимал, много чего сказал, у него возникло много последователей. Будет ли развитие? У нас Буравой был всерьез воспринят в Высшей школе экономики: вспомним Елену Ярскую-Смирнову, Никиту Покровского. Буравой был очень дружен с Ядовым. Каждый раз, когда он вбрасывал какую-то статью о публичной социологии, происходил всплеск его рецепции в России. Правда, устойчиво поддерживать эту линию у нас пока, по-моему, не получается.*

*Я упомянул Буравого, но это не единственная линия, которая восходит к чикагцам. Конечно, нельзя всё что ни попадя привязывать к ним: все-таки*

*мы должны отдавать себе отчет в том, что эта традиция прервалась. Ничто не прерывается полностью, но от огромной полноводной реки остались ручейки. Допустим, лазарсфельдовская линия получила большее влияние – через Американскую ассоциацию исследователей общественного мнения. У чикагцев мы не видим поддержки со стороны такого мощного института, потому что было очень много конкурирующих направлений, интеллектуальных групп, которые оттягивали на себя внимание, – допустим, Манчестерская школа и, шире, вообще антропология.*

*Кстати, тоже вопрос: чикагцы – они вроде бы этнографы и антропологи, но не совсем. Вроде и социологи. А больше даже урбанисты – с их участвующей социологией, с вовлеченностью в проектирование среды. А вот с Лазарсфельдом с Мертоном все проще: они вроде бы разные, но задача предсказания выборов как проверка на вшивость того, что вы делаете, прогноз явки и распределения голосов сконцентрировали вокруг себя всё то, что называется политической социологией. Поэтому в случае с ними мы говорим об огромнейшей унаследованной традиции, а с чикагцами – ничего подобного. Я бы не говорил, что их традиция продолжалась напрямую, хотя посыл был колоссальный. На тот момент, когда они развивались – условно, пока был жив Роберт Парк, – они были доминантой в американской социологии, а значит, и в мировой.*

*МБ: Сразу вспоминается концепция естественных ареалов города – и так далее. Не чувствую натяжки в том, чтобы назвать их урбанистами.*

*ДР: Да, их запросто можно переопределить в том смысле, что никакие они не социологи. Они использовали социологические концепты, а на самом деле были классиками урбанизма. В этом будет много правды. Просто тогда нужно подвести под это базу и увести их из социологии полностью. Социологи, конечно, будут сопротивляться, но кто их спросит, если устанутся эта система различий. Один из миров, с таким развитием научного знания, вполне можно себе представить.*

*МБ: Чем еще знамениты чикагцы, так это вниманием к маргинальному, к делинквентному. Кажется, что вы сегодня занимаетесь если близкими, то смежными темами. Той же бездомностью. При том, что аппарат исследований и оптика у вас определены иные. Вы здесь сверяетесь с теми же чикагцами или с какими-то другими школами?*

*ДМ: В этих исследованиях не так много науки, как хотелось бы. Они, правда, не чисто заказные – скорее партисипаторные. Я включаю сюда и государственные программы разного рода, и частные инициативы, которые загоняются в рамки концепции социально ответственного бизнеса. Вес участия заинтересованных сторон тут гораздо выше, чем у поиска истины. Другое дело, что уместно задаться вопросом: а у чикагцев-то как было? Не находились ли они в похожей ситуации?*

Что интересно, когда мы занимаемся маргинальным, мы видим это маргинальное в повседневности так называемых простых людей. Простота, к которой стремится статистическое измерение, подстегивает наше ожидание увидеть среднее – и чтобы распределение было не просто нормальным, а вообще без всяких отклонений. Вот только в исследованиях мы видим, что общая картина показывает не нормальное распределение, а хаотичное – и всё становится непонятно даже на уровне самых обычных практик «простых людей», которые подпадают под все представления о правильности: жил в одном месте, с пропиской, закон не нарушал. А внутри, при других переменных, всё распадается в разные стороны.

*МБ: Здесь всё еще остаются основания в каком-то изводе различать девиантное?*

*ДР:* Сама по себе линия девиантности – изучение групп, которые маркируются как чужие, чужие и опасные, так или иначе, с поведением, которое «может угрожать таким, как я», – сначала была мотивом чисто исследовательским. Затем ее взяли на вооружение политики, и она перешла в сферу управления и популистской политики, где и закрепились. Нельзя сказать, что она напрочь вытеснена из социальных исследований и обследований; Батыгин различал исследования и обследования исходя из наличия внешних стейкхолдеров, которые определяют повестку. В обследованиях эта линия, пожалуй, сохранилась – понятно, что мы изучаем.

А вот в исследовательской практике это незначимая переменная, поскольку различия лежат в другой плоскости, не в плоскости того, «бездомный» ты или «домашний». Сама бездомность становится сложным конструктом, и мы вполне обоснованно обнаруживаем бездомность среди тех, кто, казалось бы, имеет все первичные признаки «домашности». Допустим, у человека есть не только прописка, но и право собственности на дом, вдобавок он там же и живет. Но при всем при том – бездомный по другим характеристикам. Например, лишен возможности свободно выходить из дома, распоряжаться собой, потому что прикован к постели. Он не имеет права распорядиться домом. Плюс ко всему над ним совершается насилие. Я говорю в мужском роде, но чаще перечисленное применимо к женской бездомности. Она в основном не уличная, она «домашняя». И когда мы проводим такую многокритериальную линию, то вдруг обнаруживаем, что бездомность – категория континуальная, и мы ее можем наблюдать даже в элитных поселках – в той или иной части. Вот допустим, что такое бездомный? Это тот, у которого нет места уединения, особенно для справления нужд. Пусть не теплый сортир дома, но хотя бы будка во дворе должна быть.

А теперь посмотрим на себя. Вот ты вышел из своего дома в обычном российском городе и куда-то движешься. Много ли мест, где ты можешь зайти в туалет? И как тебя воспримут в случае, если ты зайдешь в какое-то заведение, и что ты должен

делать, чтобы зайти? Купить кофе или еще что-то? Как минимум ты должен попасть в район, где есть кафешечки. А если ты среди кварталов жилой застройки, там поди найди, где сходить в туалет. А если у тебя острая потребность? Например, ты беременная или у тебя какое-то заболевание и тебе нужно справлять нужду гораздо чаще. Все, на тебя будут коситься, а если ты не удержался... Ты маргинализован мгновенно.

Не то чтобы тема была мне невероятно близка. Она мне нравится, но так сложилось, что очень много исследований, которыми я занимаюсь, лежат в сфере изучения бедности – в широком смысле слова. У нас, к сожалению, в эту категорию часто попадают и старики, и, уж подавно, бездомные, и, как ни парадоксально, семьи с детьми. У нас как: хочешь стать бедным – рожай больше детей. Несмотря на то что есть государственная политика [в сфере демографии] и много чего еще, статистика – вещь упрямая, и в соответствии с ней вероятность того, что твои доходы будут снижаться, прямо пропорциональна тому, сколько несовершеннолетних членов семьи в домохозяйстве. Ничего не попишешь.

Поэтому прежнее понимание девиантных групп, на мой взгляд, несостоятельно в свете того многообразия социальных практик, которые мы видим. Если всё же использовать термин «девиация» – за ними же стоят некоторые концепты, – то я бы его применял к ситуации, в которой находится человек, а не к самому человеку. Мы можем регулярно оказываться в ситуации конструирования девиации, прежде всего самодевииции, когда нам самим неудобно, стыдно. Мы чувствуем неловкость, нам плохо, и мы чувствуем, что мы чужие на этом празднике жизни. Все идут, любуются уличной иллюминацией, а мы хотим в туалет. Кто здесь девиант? Конечно, человек, который жутко хочет в туалет, становится чужаком для других. Мгновенно.

## Великие исследования и великие люди

*МБ: Кажется, что отчасти (не скажу – благодаря чикагцам, но через их рецепцию) и сформировался миф о том, что великие исследования делают великие люди, которые уходят в поле на пять лет – в еврейское гетто, в банду потомков эмигрантов из Италии – и создают этнографический тагнит опус.*

*ДР:* Ровно так. Чикагскую школу воспринимают в большей степени через учебники. А учебники пишутся, как правило, идиотами. И вот эти идиоты ориентируются только на имена. Мы же историю социологии знаем, в сущности, по пяти именам. Вот что такое Вебер? Вебер – это огромное количество его рецепций. Целое исследовательское направление. То же самое с чикагцами. Даже если мы возьмем классические примеры, когда один человек куда-то уходил, например общаться с членами банды. За этим стояли те люди, которые остались на полях. С кем он общался, с кем

поддерживал отношения. Они играют не меньшую роль в его исследовании, чем он сам. Если человек туда попал и закрылся, он ничего не напишет. К сожалению, то, как это подано, порождает иллюзию, будто можно в одиночку пойти и всё изучить. И эта иллюзия бьет молотком по голове нашим аспирантам. Самое частое, что я вижу у аспирантов, – это полное уныние и ощущение, что ты последний человек на планете, потому что не можешь разобраться в чем-то. Так ты и не должен разбираться! Это твое базовое качество как аспиранта – не разбираться: ты не один здесь не разбираешься. Тут скорее нужно говорить о том, что ты не выстроил отношения со своим научным руководителем, со своими коллегами, с исследовательским коллективом.

Но дело не ограничивается чикагцами. Это общая тенденция. Наше стремление кого-то поднять, прислониться к авторитету, перетянуть одеяло в какую-то сторону. И требуется отдельное усилие, чтобы с этим работать.

## Источники

- Ефременко, Д.В., и Николаев, В.Г. (2024). Мыслители города ветров: Прагматистская социальная наука в Чикаго в первой половине XX века (Н.Е. Покровский, Ред.). Москва: ИНИОН РАН.
- Крыштановский, А.О. (2006). Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. Москва: Издательский дом ГУ ВШЭ.
- Николаев, В.Г. (2015). «Золотой век» чикагской социологии. В Д.В. Ефременко (Ред.), *Чикагская школа социологии: Сборник переводов* (с. 5–17). Москва: ИНИОН РАН.
- Николаев, В.Г. (2009). Многомерные и редукционистские стратегии в чикагской социологии: случай человеческой экологии. *Социологический журнал*, (2), 18–55.
- Рогозин, Д.М. (2023). Правда Нормана Дензина: введение в научный некролог. *Социологическое обозрение*, 22(3), 376–386.
- Рогозин, Д.М. (2009). Публичная социология по Майклу Бураову. В В. Куренной (Ред.), *Мыслящая Россия: История и теория интеллигенции и интеллектуалов* (с. 351–365). Москва: Некоммерческий фонд «Наследие Евразии».
- Томас, У.И., и Знанецкий, Ф. (2008). *Польский крестьянин в Европе и Америке* (В 2 т.; В.В. Горохов, Пер.). Москва: Издательство ЛКИ.
- Ядов, В.А. (2003). Динамика самоопределения граждан: Кто я и кто мы? Признаки преодоления травмы идентичности. *Телескоп: Наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев*, 1, 2–3.
- Ядов, В.А. (2012). Каким мне видится будущее социологии. *Социологические исследования*, (4), 3–7.
- Atkinson, P. (2013). Blowing hot: The ethnography of craft and the craft of ethnography. *Qualitative Inquiry*, 19(5), 397–404.
- Atkinson, P., & Hammersley, P. (2007). *Ethnography: Principles in practice*. London: Routledge.
- Burawoy, M. (2009). *The extended case method: Four countries, four decades, four great transformations, and one theoretical tradition*. Los Angeles, CA: University of California Press.
- Denzin, N.K. (2023). The elephant in the living room, or extending the conversation about the politics of evidence, part 2. In N.K. Denzin, Y.S. Lincoln,
- M.D. Giardina, & G.S. Cannella (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (pp. 549–566). Sage.
- Hammersley, M. (1992). What's wrong with ethnography? London: Routledge.
- Thomas, W.I., & Znaniecki, F. (1918–1920). *The Polish peasant in Europe and America* (Vols. 1–5). Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Whyte, W.F. (1943). *Street corner society: The social structure of an Italian slum*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

## THE METHOD OF DESCRIPTION AND THE EXPERIENCE OF FREEDOM

**Dmitry M. Rogozin**, Field Interviewer, Candidate of Sociological Sciences, Senior Researcher, Institute of Sociology of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (FCTAS RAS); Head, Laboratory for Methodology of Social Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA); Moscow, Russian Federation.  
E-mail: rogozin@ranepa.ru

**Mikhail M. Bode**, Independent Researcher; Founder, Beyond Research bureau.  
E-mail: mikhail.bode@gmail.com

In this interview, Dmitry Rogozin reflects on the Chicago School of Sociology not merely as an institution, but as a community of colleagues and contemporaries with whom he conducts a mediated dialogue, appealing to their methodological honesty and their ability to avoid drawing unnecessary boundaries between methodology and the description of results, between literature and academic writing. Rogozin draws parallels between the Chicago School and Russian classical literature (Tolstoy, Leskov, Chekhov), seeing in both traditions a mastery of the “concentration of detail” and the creation of a “great ethnography.” A leitmotif of the conversation is the concept of “professional perplexity” as the preferable basic state of the researcher: registering points where the gaze “stumbles,” reflecting on one’s own interest, and maintaining indeterminacy serve as the preconditions for thoughtful inquiry. Another line of discussion concerns the very idea of a school: Rogozin compares the Chicago School and the Shanin School. A school becomes possible through sustained work with an intellectual legacy, a search for ideas in the texts of predecessors, and the capacity to listen—within a small circle rather than before a crowd of admirers. This small group then becomes capable of changing social reality, acting not only through texts but also by engaging with it directly. The critical thrust is directed against the dominance of a particular strain of quantitative methodology and a “managerialist” approach in the social sciences. Alongside these themes, the interview touches

on other scholarly interests of Dmitry Rogozin: the public sociology of Michael Burawoy, and research on the marginal and the everyday.

**Keywords:** Chicago school of sociology; Anton Chekhov; ethnography; marginality; Karl Popper; professional perplexity

**Citation:** Rogozin, D., & Bode, M. (2025). “The Method of Description and the Experience of Freedom”: An Interview with Dmitry Rogozin. *Urban Studies and Practices*, 10(4), 18–29. <https://doi.org/10.17323/usp104202518-29>

### References

- Efremenko, D.V., & Nikolaev, V.G. (2024). *Mysliteli goroda vetrov: Pragmatistskaya sotsial'naya nauka v Chikago v pervoy polovine XX veka* [Thinkers of the Windy City: Pragmatist social science in Chicago in the first half of the 20th century] (N.E. Pokrovskiy, Ed.). Moscow: INION RAN.
- Kryshtanovskiy, A.O. (2006). *Analiz sotsiologicheskikh dannykh s pomoshch'yu paketa SPSS* [Analysis of sociological data using SPSS]. Moscow: Izdatel'skiy dom GU VShE.
- Nikolaev, V.G. (2015). “Zolotoy vek” chikagskoy sotsiologii [“Golden age” of Chicago sociology]. In D.V. Efremenko (Ed.), *Chikagskaya shkola sotsiologii: Sbornik perevodov* [The Chicago School of sociology: Collection of translations] (pp. 5–17). Moscow: INION RAN.
- Nikolaev, V.G. (2009). *Mnogomernye i reduksionistskie strategii v chikagskoy sotsiologii: sluchay chelovecheskoy ekologii* [Multidimensional and reductionist strategies in Chicago sociology: The case of human ecology]. *Sotsiologicheskii zhurnal* [Sociological Journal], (2), 18–55.
- Rogozin, D.M. (2023). Pravda Normana Denzina: vvedenie v nauchnyy nekrolog [Norman Denzin's truth: Introduction to a scientific obituary]. *Sotsiologicheskoe obozrenie* [Russian Sociological Review], 22(3), 376–386.
- Rogozin, D.M. (2009). *Publichnaya sotsiologiya po Mayklu Buravovu* [Public sociology according to Michael Burawoy]. In V. Kurennoy (Ed.), *Myslyashchaya Rossiya: Istoriya i teoriya intelligentsii i intellektualov* [Thinking Russia: History and theory of intelligentsia and intellectuals] (pp. 351–365). Moscow: Nekommercheskiy fond «Nasledie Evrazii».
- Thomas, W.I., & Znaniecki, F. (2008). *Pol'skiy krest'yanin v Evrope i Amerike* [The Polish peasant in Europe and America] (In 2 vols.; V.V. Gorokhov, Trans.). Moscow: Izdatel'stvo LKI.
- Yadov, V.A. (2003). *Dinamika samoopredeleniya grazhdan: Kto ya i kto my? Priznaki preodoleniya travmy identichnosti* [Dynamics of citizens' self-determination: Who am I and who are we? Signs of overcoming identity trauma]. *Teleskop: Nablyudeniya za pousednevnoy zhizn'yu peterburzhtsev* [Telescope: Observations of everyday life of St. Petersburg residents], 1, 2–3.
- Yadov, V.A. (2012). *Kakim mne viditsya budushchee sotsiologii* [How I see the future of sociology]. *Sotsiologicheskies issledovaniya* [Sociological Studies], (4), 3–7.